

ДНЕВНИКИ

Выдержки

1918

Дуизбург, 15.08.<1918> вечер*

Марта* принесла розы. Среди них две ярко-красные, с нежным ароматом. Аромат струится через открытые окна и смешивается с бесконечно мягким вечером. Когда я чувствую этот сладкий аромат темно-красных роз, я всегда вспоминаю о Фрице. Как мчится время. Эта весна, которую ты хотел пережить, Фриц*, давно уже созрела для золотого лета. Сквозь ясный воздух предчувствуется бабье лето, и деревья за моим окном кажутся почти медно-золотыми в вечернем свете. Все еще эта боль по тебе, Фриц, рана все еще кровоточит. Твои золотые мечтательные сказочные глаза до сих пор в моей памяти, и твой мягкий голос в пепле далекой урны, ах, такой далекой урны.

Фриц, единственный, кому я мог открывать свою тяжелую душу! Единственный, кто проникал вместе со мной в загадку моего бытия! Ты мертв. Было бы бесславно и бессмысленно оплакивать тебя. И все-таки в жизни должны быть и цель, и задача! Жизнь познать, преодолеть, чтобы жить, несмотря ни на что! Жизнь не стоит жизни — и все-таки.

Жизнь!

Летний вечер слишком томительно синий, вечерний ветер шумно играет на арфах огромных деревьев за моим окном. Я думаю о последних днях. Отболело-отзвучало.

Остается только воспоминание.

Я склоняю мою голову перед тобой, Лючия*! Ибо ты скрасила мои три вечера своей душевной добротой и самоотдачей. Звездная ночь укутывала эти три вечера, вечное волшебство брезжущей летней ночи. Вечные звуки Бетховена и чистая зрелая человечность Фрица были с нами. С вниманием к моему внезапно-одиночеству и тоске по тебе ты приходила, как велели твои чувства.

О, как я презираю тех женщин, которые при каждом невеликом деянии их шаблонной души оглядываются по сторонам, дозволено ли им это или не видят ли этого другие! Они считают шаг навстречу серьезным поступком и требуют безграничной благодарности. Я презираю их чуть ли не больше, чем тех женщин, чья любовь всегда является страстью, или тех, которые верят, что какой-то волшебный час привязывает и влечет за собой права и обязанности на всю жизнь. Тех, которые после душевного созвучия в какой-то счастливый час уже предъявляют претензии, пусть еще не на обручение и брак, но хотя бы на обхождение с собой. И потом они во всех возможных ситуациях смотрят столь вопрошающе: «Ты еще помнишь? Что я тебе позволила? Что ты меня поцеловал? Теперь ты обязан меня любить; ведь ты держал меня за руку». Или это только мое воображение, или действительно люди настолько отстали? Какой муж не обвинит жену в неверности, когда он увидит, что

его жена, находясь наедине с другим мужчиной, целует его? Но не будет ли обвинение мужа ясным доказательством его эгоизма? Он хочет единолично владеть женщиной, не позволяя никому бросить на нее свой взгляд? И подобно бешеному петуху бросаться на того, кто, как ему показалось, позволил себе подобное? Я могу легко представить и понять, когда женщина, будучи с кем-то другим во взаимном душевно-духовном общении и подъеме, в самопознании и сопереживании, придает этому духовному созвучию еще и телесное выражение. Это вполне естественно, согласно законам гармонии и чувственного подъема. Это телесное выражение духовного сопереживания, будь то поцелуй или соприкосновение, необходимо для совершенного подъема и естественного разрешения. Если бы это было изменой, то тогда любое духовное взаимопонимание и сопереживание — тоже измена, тогда любой глубокий разговор, при котором двое понимают друг друга, дополняют и совпадают, — тоже измена. Потому женщина продолжает и дальше любить своего мужа, когда она в какой-то серебряный час в высоком подъеме и разрешении целует другого. Другой и она принадлежат друг другу на один час, но муж и она принадлежат друг другу всегда. Если я так люблю еще и другого человека и вижу в нем свое осуществление, то все-таки возможно на один час дать другому то же самое и быть тем же самым (почти, по крайней мере) для этого другого! Но если я для него значу больше и он мне дает больше, тогда мы принадлежим друг другу, тогда будет естественно и по праву, что другой от меня сразу же отказывается. Если же он этого не делает, то это может происходить только из-за эго-

изма, а вовсе не из любви, как это считается, из любви к самому себе, а вовсе не ко мне. Человек живет своей жизнью только один раз, и он должен ее, насколько это возможно, возвышать и наполнять. И разве это не безобразие, регулировать ее бумажными законами и заключать ее добровольно в какие-то шаблоны.

Любовь — это же не долгосрочная, медленно горящая лампа! И поэтому она и не всегда кроваво-красный пожар, она может быть и мягким светом звезд. Я считаю любовь недостаточной и не соответствующей браку. Любовь — это душевно-духовное, высочайшее созвучие, разрешившееся в телесном. То, что необходимо для брака, я бы назвал скорее дружбой; или, может быть, любовной дружбой; если это выражение не слишком отталкивает.

Любовь — это упоение!

Не упоение чувств, но упоение (это слово в самом лучшем и высоком смысле) душ! Любовная дружба, основанная на внутренней самоотдаче, всегда одна и та же, нежная, доверяющая и доверительная совместная жизнь, из которой снова и снова, в зависимости от настроения и времени, расцветает любовь. И теперь я скажу то, что хотел доказать: женщина *не является* неверной, если она любит другого! («любит» в моем понимании) Таким образом, необходимая для брака сущность, любовная дружба, вовсе не становится нарушенной или ограниченной. *Я могу человека, с которым я никогда бы не смог жить вместе (брак), все-таки, пусть на час, любить!* Любовь — это аромат цветения из блаженного сада! Он приходит, одухотворенный, и уходит. И снова все как прежде. Нужно ли затыкать

себе рот и нос, поскольку хочется ощущать не этот ветер, а лишь аромат роз в букете? Не было бы это глупостью? У людей (в благороднейшем смысле) должна царить совсем другая свобода и более широкий образ мысли в отношении состояний души. Если бы я хотел пойти дальше, я бы сказал: неверности не существует вовсе, также как и греха, и добра, и зла!

Все естественное — это благо и право!

Эта точка зрения годится только для тех людей, которые честны по отношению к самим себе.

Можно также закутать свой эгоизм в пальтишко правды и естественности, чтобы проникнуть в запретные сады. Можно ли посредством собственной человечности ограничить другого, своего ближнего, в его эгоизме? — загадка, которую я сегодня вечером не могу разрешить.

И ты, Лючия, навела меня сегодня на эти раздумья: поскольку ты обручена с другим, и все же была для меня возлюбленной в течение трех душевных часов.

Возлюбленная! Да, я пишу так! Но иная возлюбленная, нежели полагают многие, называя это слово, ибо они подразумевают под возлюбленной только спутницу смятения чувств.

Лишь женщины ходить умеют столь тихим шагом. Зренье хуже к ночи.

И снова полнолуние на дворе: луна — как шар, старинна и желта.

Грустнейшее из слов на свете — «вечность».

«Ушли они, исчезли, словно тени...»

И за это я превозношу и прославляю тебя! За что другие тебя презирают (возможно), за это я прославляю тебя!

Потому что ты — человек и женщина! В благороднейшем и глубочайшем смысле. Не для того чтобы пережить мимолетное головокружение или, говоря плоским филистерским языком, чтобы обрести прекрасное воспоминание на старости лет (которое, согласно взглядам адептов этого учения, состоит из как можно большего числа приключений и поцелованных уст), нет, чтобы усилить волнение души и гармонично его разрешить, для этого мне позволено целовать твои уста и касаться твоей руки.

Если бы эти часы, которые мы пережили вместе, были бы только головокружением и опьянением плоти, то от них бы ничего не осталось: одно отвращение и взаимное презрение!

Да, презрение! Ибо мое ранее сформировавшееся воззрение не означает, что можно теперь ласкать, целовать и обладать столько, насколько позволяет страсть. Нет, но лишь как высочайшее выражение душевного и духовного напряжения, возвышения и дополнения имеет смысл и телесное сближение, и близость. Нужно всегда это различать.

О каком-то поцелуе или объятии не стоит даже говорить (скорее всего), но лишь о полной самоотдаче! Я хотел бы сказать: то, что является телесным выражением духовного подъема, никогда или едва ли могло бы случиться, если бы все находилось в гармонии. Для большинства людей не представляется возможным при достижении определенного понимания развиваться дальше свободно и возвышенно в душевном и духовном направлении. После того как их инстинкты и чувства, эти внешние подступы души, будут слегка затронуты, они не способны, вследствие неразви-

тости крыльев, взлететь душевно и духовно, чтобы воспарить в царстве истинной, чистой, подлинной любви. Вместо этого они остаются прозябать на земле, отдают и берут свои тела в пылкой похоти и воображают себе, естественно, так же как и звери (вот еще одно ключевое слово, с которым творится много пакостей), что они принадлежат друг другу, — и превозносят этот вид любви как единственный и высочайший. Самое скверное здесь то, что у них нет почитания подлинной любви. Это в их глазах ультрамодерн, сверхэстетика, твердолобость, мечтательность и т. п. Я не призываю к платонической любви! Но я хочу не только чувственной любви! Не только души! Но и не только тела! И как любая телесная деятельность есть лишь выражение духовной функции, также должна быть телесная любовь выражением любви духовной. Ни одно из этого не существует без другого; во всяком случае, не должно быть плотской любви без духовной.

<18.08.1918, Дуизбург> поздно вечером

Мои розы умирают. Свет лампы еще сказочно их золотит, но завтра они увянут и опадут. Вчера вечером я поставил их в теплую воду; теперь они отцвели и умирают.

Приходит осень. Вчера, когда Марта позвала меня с собой, моросил мелкий дождь. Каштаны стояли в по-осеннему бурой листве под серым небом. В первый раз я ощутил по отношению к Марте вовсе не то чистое бессознательное чувство, которое испытывал прежде. Что-то появилось иное. Я изучал это, задумывался и молчал. Откуда это пришло, я не знаю. Я бы

хотел верить, что это всего лишь осень прокралась в кровь, хотя порой совсем другое что-то вспыхивает во мне, что приливает всю кровь к сердцу из-за моего непостоянства и из-за моей судьбы. Если бы в этом заключалось все дело... тогда надо людей моего типа расстреливать или вешать. И Мартель тоже чувствовала эту чуждость и молчала. Тоже. Когда я рассказал ей о влиянии времен года на меня, что я только весной и летом способен любить, тогда как осень рождает во мне чувство одиночества, а зима целиком посвящается работе, она спросила: «А другие?» — «Которые?» — «Так, осенью и зимой тебе хватает себя одного — но у меня, у меня же есть только ты!» Уголки ее губ подрагивали. Когда я, пытаюсь отвлечь, поцеловал ее, я почувствовал ее дрожь. У меня было только одно желание: пусть все останется, как раньше! О, только бы не стать во второй раз по отношению к женщине предателем! Я вовлек Хедвиг* из ее с трудом обретенного покоя чувств в мою тревожную жизнь и заставил страдать. Не принесу ли я снова другой женщине после краткого упоения долгое разочарование? Мне становится иногда жутко от самого себя, от этих сил, которые разрывают меня и управляют мной из мрака. Насколько правдива моя шутка, когда я говорю, что могу любить только каждые два месяца? Я слишком устал, чтобы все время думать об этом. Я хочу, чтобы все было хорошо! Чтобы все оставалось по-прежнему! Бедная маленькая Марта!

Сегодня после полудня мы вместе с товарищем (это был Карл Рат*) играли на рояле и на скрипке в одном ресторане, в Вальдекер-Хоф. Единственная возможность. Мы оба увлеченно сошлись на Вагнере. Такая

картина: мой товарищ с ногой в гипсе, красный шелковый платок обмотан вокруг ступни, чтобы не торчали пальцы, в белом костюме, прихрамывающий, рядом с ним я со скрипкой и нотами, с длинной сигарой во рту, в запрещенной шапке, поддерживаю его.

Сегодня вечером я был в комнате 77, где участвовал в оживленном разговоре о политике, (в высоком смысле) государственных формах, обществе, законах, религии, государстве и т.п. Взгляды никак не сходились, но было все-таки интересно и свежо услышать чужое мнение. Из-за непрерывного курения сигар у меня немного помутилось в голове, которую я хочу прояснить, немного поспав.

Вторник, 20.08.<1918>, полдень. <Дуизбург>

Моросит легкий дождь, воздух сер и промозгл. Мне хочется снова вернуться на два года назад в сказочную келью* Фрица, в его коричневую комнату. Какой родной и уютной была она всегда, золотисто-коричневый тон комнаты, мягко освещенный красноватым светом лампы, молодость, красота и веселье, а надо всем этим томительно-нежное ожидание грядущей разлуки. Когда остыло зимнее солнце под снежными облаками, громче завывали ночные снежные ветры, медленно закружились снежинки в сумерках зимней ночи, снег становился все плотнее и плотнее на нашем чердачном окошке, нашем окошке, пестром от сказок и грез, — потом оставался только свет от золотой лампы, — в углах угнездились сумерки, мы теснее прижались друг к другу, и наши души начали колыхаться. В печи пеклись яблоки, и их аромат тянулся нежно по комнате

и окутывал медного Бетховена в его углу. Да, угол Бетховена. Картина Фрица «Соната весны», великолепная гравюра, загорелый танцор, посмертная маска, обрамленная вечнозеленой хвоей, и цветы, жертва, — это было сущностью уголка Бетховена. Но лучше всего было утром, когда солнце заглядывало в сказочное окошко и в пестрых камнях, ракушках и склянках вспыхивало зеленое, красное, голубое, перламутровое, золотое — целый бунт красок, стихотворение красок, преподнесенное хмурому Бетховену. И так оно проникает все дальше и дальше, разоблачая все новые чудеса света, окутывая Бетховена золотым сиянием, заставляя вспыхивать на стене все новые и новые сказочные картины. Да, наш уголок Бетховена.

На белой скатерти стола размечтались розы, настоящие розы, поблескивали винные бокалы, отбрасывая рубиново-красные тени, стоял замечательный чайный сервиз Фрица, на бело-коричневом пестром блюде, ах, на любимом блюде, лежали коричневые печенья и ждали, когда их с маслом и — о Фриц — с сиропом из сахарной свеклы съедят вместе с печеными яблоками. И ты сам, Фриц, в своем белом праздничном пиджаке и со своей благородной человечностью; ибо у тебя все подобрано друг к другу и все мгновенно может быть названо: твоя великолепная панاما и твоя душевная любовь к Элизабет*, твой новый плащ и страстная любовь к Кэт*, твоя любовь к чаю и сигаретам и твое последнее смирение глубочайших волнений души, твоя прекрасная естественность и твоя потрясающая молитва к звездам каждой ночью. Каждый день ты был мучим кашлем и болью — и все же каждый твой вечер был глубок и царственен.

Да, Фриц, ты *подлинно* скромный человек, ты был одним из тайных царей, которые незримо проходили по миру в нищенском рубище — только немногие видели их незримую корону при жизни — лишь когда они умирали, тайные цари, и небо, и земля оплакивали их, тогда с удивлением прислушивались к этому люди и признавали: один из спасителей, которых они искали на другом конце света, был незнанным среди них и умер. Они сожалели. Бесконечная скорбь по тебе и сейчас не проходит, Фриц. В последние два года я виделся с тобой не больше пяти дней — и тогда на меня давила смерть моей матери*. И как бы я хотел поделиться с тобой любовью и добротой — только теперь я повзрослел. Фриц!

Суббота, 24.08.1918 <Дуизбург>

Вчера вечером у меня был долгий разговор с товарищем, с <Людвигом> Ляйглем. То, что до сих пор неопределенно маячило передо мной, получило определенную форму. Именно форму мысли — призвать после войны молодежь Германии к борьбе против всего ветхого, гнилого и поверхностного в искусстве и жизни. Начать новую эпоху серьезной работы и прогресса в областях, которые до сих пор прозябали в застое, если не откатились назад. К мощному единодушному выступлению молодежи против всего дурного (в широком смысле). Это значит выйти за пределы частных, бороться против затхлых оперетт, водевилей и т. п., выступать за хорошее, настоящее искусство, создавать такое искусство, находить новые пути, прокладывать пути для хорошего нового, замечать и умень-